

Демифологизация образа Ф. Достоевского в книге А. Ремизова *Учитель музыки*

Сергей Доценко

◇ eSamizdat 2014-2015 (X), pp. 95-101 ◇

РУССКАЯ эмиграция “первой волны” уже в первое десятилетие своего бытия создала несколько мифов. Один из них — миф об особой миссии, которую якобы должна взять на себя русская интеллигенция, оказавшаяся в “расеянии”. Квинтэссенцией и фактически декларацией этого мифа стало известное выступление И. Бунина 16 февраля 1924 г. в Париже с красноречивым заглавием — *Миссия русской эмиграции*:

Мы эмигранты, — слово “émigrer” к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину. [...] Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и сильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся¹.

Впрочем, Бунин сделал акцент главным образом на “политическом” аспекте этой миссии. Но был еще и другой аспект — “культурный”. Ведь если подлинная Россия оказалась под угрозой гибели (ибо там, в Советской России, по мнению русских эмигрантов, уничтожаются русская вера, язык, литература, культурная память как таковая), то эмигранты оказываются единственными, кто еще может сохранить память о русской истории, сохранить русский язык и русскую литературу. А. Бем пошел еще дальше, поставив вопрос о том, что миссия русской эмиграции заключает-

ся в приобщении Запада к достижениям русской литературы:

Со времени исторической речи Достоевского о Пушкине русская критическая мысль много сделала из завещанного ей. Но остался невыполненным еще один завет, который лежит на нашем поколении и едва ли не на нас — русской эмиграции. Я имею в виду приобщение Запада к постижению гениальности Пушкина. Только тогда, когда этот круг будет завершен, мы сможем сказать, что Пушкин не только наш национальный гений, но и русский гений всечеловечества².

Идею особого мессианства русской эмиграции афористично сформулировал Д.С. Мережковский в 1921 г.: “Мы не в изгнании, мы — в послании”³.

Но смысл этого афоризма несколько изменился к началу 1930-х годов: политический аспект миссии утратил актуальность и отошел на второй план, зато на первый план вышел аспект культурный. И тогда он стал для эмигрантов оправданием своего фактического “изгнанничества”, попыткой придать вынужденному оставлению родины более значительный исторический и культурный смысл.

Позиция писателя А.М. Ремизова, особенно в начале 1920-х, в первые годы эмиграции, была не совсем типичной. Эмиграция Ремизова была вызвана скорее причинами житейскими, нежели причинами политическими. Возможно, именно это объясняет противоречивость высказываний Ремизова об эмиграции в 1920-1921 гг., ко-

¹ И.А. Бунин, *Окаянные дни. Воспоминания. Статьи*, Москва 1990, с. 349-350.

² А.Л. Бем, “Культ Пушкина и колеблющие треножник”, Тот же, *Исследования: Письма о литературе*, Москва 2001, с. 333.

³ См.: А.В. Бахрах, “Померкший спутник”, *Мережковский: Pro et contra. Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология*, Санкт-Петербург 2001, с. 497. Впрочем, автором афоризма “Мы не в изгнании, мы — в послании” многие исследователи считают не Д.С. Мережковского, а Н.Н. Берберову.

тору с недоумением отмечали его современники. Об этом свидетельствует дневниковая запись К.А. Феина (от 2 января 1921 г.):

А. М. Ремизов, ежась от вечного холода и внутренней дрожи, с лицом юродиво-верующего, говорит потихоньку:
— А я вот счастлив, очень счастлив, что всю революцию просидел в Петербурге. Ну, что они поразъехались по границам, что они там видят, с кем живут? Мне их жалко. Вот Алексей Толстой. Отказался бы от своего графа и жил бы тут. Ведь он это понимает, что не в графе дело, а вот поди... Пропашие они, эмигранты...⁴

В 1922 г. вышла мемуарная книга Ремизова *Ахру: Повесть петербургская*, эпиграфом к которой стали слова писателя: “И еще скажу вам: у кого есть сила и голова крепка, пусть не покидает России. Так и скажите”⁵. И в самой книге *Ахру* (в гл. *К звездам*) он опять повторит эту мысль:

А знаете, это я теперь узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то что невозможно, а просто нечего: ведь только в России и совершается что-то, а тут — для русского-то — пустыня. Уйти временно в пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли — ведь нигде, как в пустыне, зрение и чувства остры. — и Гоголь уходил в римскую пустыню для *Мертвых душ*. Тоже и поучиться следует, и есть чему, на камнях-то Европы — “одним х...м (хоботом) мазать невозможно!”, — правильно Толстой заметил Алексей Н. Только вот насчет прокорму — писателям и художникам везде приходится туго! — надо какую-то работа, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетит душу. И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя, на миру в России⁶.

И далее опять вернется к этой мысли: “[...] Русскому писателю да еще в такую пору — столпотворенную — без России никак невозможно”⁷.

Иными словами, Ремизов осуждает идею эмиграцию — и в то же самое время сам эмигрирует. Объяснение этого парадокса простое: эмиграцию по “идейным” (т. е. принципиальным) сообщениям Ремизов не приемлет, а вот житейские причины (болезнь, тяготы быта, семейные обстоятельства и пр.) — дело другое. О своем нежела-

нии эмигрировать (как и о причинах состоявшейся эмиграции) Ремизов уже в конце жизни говорил Н. Резниковой:

Я все равно не пропал бы, жил бы в щели... Нашелся бы кто-нибудь, ну, красноармеец, или другой... кормили бы меня... но Серафима Павловна очень мучилась от лишений, от невозможности в тех условиях заниматься своим делом (археология, палеография, русская история). Она все время болела, не могла лечиться, ей трудно было переносить — холод, голод, бесправие — как она часто повторяла...⁸

Там же Н. Резникова цитирует запись Ремизова: “В ночь перед отъездом, 5-го августа: ‘как не хотелось уезжать. Всю ночь продумал: не хотелось. Но потом как оборвало, а у С.П. открылось на границе: ей так не хотелось расставаться’”⁹.

Мысль о возможном скором возвращении в Россию не покидает Ремизова в первые два года эмиграции. Уже в октябре 1921 г., только-только оказавшись в Берлине, Ремизов в письме старому другу Л.И. Шестову сообщает: “В Россию тянет. Знаю, невозможно, пока. [...] Очень мне тут всех жалко. Все, как нищие без надежды поправиться, а вид делают д[руг] перед д[руг] ом, что ничего и нагишом ничего”¹⁰. 21 января 1922 г. он пишет С.М. Алянскому: “Я себя за эмигранта не считаю, а лишь за временно живущего вне России, как на санатории для восстановления потерянных сил”¹¹. 24 февраля 1922 г. он сообщает тому же адресату: “В Петербург мы собираемся. Надо придумать тогда, как квартиру достать”¹². В это же время М. О. Гершензон пишет Л. Шестову из Москвы (26 февраля 1922 г.): “От Ремизова получил одно письмо из Берлина, насчет его арестованных рукописей, не знаю, искренно ли он пишет, что хочет скоро вернуться”¹³.

Представляется, что это желание Ремизова, пусть практически и трудно осуществимое, было

⁸ Н.В. Резникова, *Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове*, Berkeley 1980, с. 61-62.

⁹ Там же, с. 61.

¹⁰ “Переписка Л.И. Шестова с А.М. Ремизовым”, *Русская литература*, 1993, 1, с. 170.

¹¹ А.М. Ремизов, “Дневник 1917–1920 гг.”, *Минувшее: Исторический альманах*, Москва, Санкт-Петербург 1994. Вып. 16, с. 415.

¹² Там же, с. 415.

¹³ М.О. Гершензон, “Письма к Льву Шестову (1920–1925)”, Публ. А. д’Амелиа и В. Аллоя, *Минувшее: Исторический альманах*, Париж 1988, Вып. 6, с. 249-250.

⁴ К.А. Феин, “Из трех петроградских дневников 1920–1921 годов”, Публ. Н.К. Феиной и В.В. Перхина, коммент. В.В. Перхина, *Русская литература*, 1992, 4, с. 154.

⁵ А.М. Ремизов, *Собрание сочинений*, Москва 2002, Т. 7, с. 4.

⁶ Там же, с. 7.

⁷ Там же, с. 18.

вполне искренним. Впрочем, в письме М.О. Гершензона Л.И. Шестову от 16 июля 1923 г. упоминается и другое настроение Ремизова:

Посмотрел я жизнь наших в Берлине — Ловцких, Ремизовых, Лазарева и др.: не многим легче московской (я говорю только о внешнем). И притом призрачно, пустынно, одиноко. И странно: после всех жалоб, все без исключения настойчиво советовали мне не ехать в Россию, особенно Ремизов [...] ¹⁴.

В любом случае можно констатировать, что Ремизов принадлежал к тем представителям русской эмиграции, которым была чужда идея эмиграции как мессианизма — и политического, и культурного. Особенно наглядно это подтверждает самая “эмигрантская” книга Ремизова — *Учитель музыки. Каторжная идиллия*. Замысел книги сформировался в начале 1930-х годов, фрагменты этой книги печатались в эмигрантской периодике в 1930-1940-е годы, но при жизни писателя она так и не была издана ¹⁵. Сам Ремизов книгу *Учитель музыки* (необычную по жанру и композиции) назвал так: “Моя бытовая автобиография” ¹⁶. Главная же идея книги содержится в главе *На каторге* ¹⁷: “Я как-то понял, что все мы здесь на каторге, и притом на бессрочной каторге. Для меня вдруг осветились многие из наших поступков, только и объяснимые нашим бессрочно-каторжным состоянием” ¹⁸.

Этот взгляд на эмиграцию как на “бессрочную каторгу” явно противоречит общепринятому представлению о жизни в эмиграции как пусть и трудной в социально-экономическом (бытовом) отношении, но — жизни гораздо более свободной в политическом и духовном плане, особенно если

сравнивать ее с жизнью в Советской России. И это при том, что у Ремизова, в 1918-1921 гг. пережившего тяготы военного коммунизма в Петрограде, не было никаких иллюзий относительно степени личной и общественной свободы в Советской России.

В той же книге *Учитель музыки* находим весьма иронический взгляд Ремизова на русскую эмиграцию 20-х годов:

Два берлинских инфляционных года, если судить по информации Судока, представляли необычайно кипучую деятельность в искусстве и литературе, или вообще говоря, на культурном фронте: русский Берлин, если еще не превратился, то был накануне превращения в Афины ¹⁹, а до сих пор не засыпанный ров Е.Д. Кусковой не только сравнивался, а еще, как память, цвел цветочной клумбой — хлестаковскими курьерами летали из России в Берлин и из Берлина в Россию художники, писатели, ученые и музыканты. Стабилизация марки разбила все мечты и планы Судока. И с “Берлинской волной” Судок перекочевал в Париж. (Мы приехали вместе — 7 ноября 1923 г., держу в памяти для карт-дидантитэ). Но этот Париж ничего не имел общего с тогдашним Берлином: инфляционный Берлин, связанный с живой Россией и по свежим воспоминаниям выехавших за границу и по общению с приезжающими из России, был столицей, Париж же, теперь не высокой валюты, принявший в себя такие две разные волны, как Константинопольская, память которой держалась на “гражданской войне”, и эта наша Берлинская, пережившая всю революцию в Москве или в Петербурге до нэпа, становился провинциальнейшим городом русского “стоимиллиона”. И с каждым “беженским” годом или с каждым годом “в изгнании”, как любят выражаться никогда никем не изгнанные, явившиеся за границу с разрешения и даже в командировку, провинциальный дух концентрируется, проникая душу русского парижанина. Все, что есть характерного для провинциала, с годами распустилось в русском “стоимиллионном” Париже, в самом совершенном виде ²⁰.

Таким образом, “провинциальный дух”, который Ремизов обнаружил в Париже, заключался в оторванности от “живой России”, в замкнутости мира литераторов, в нетерпимости к инакомыслию, в политической и литературно-эстетической корпоративности приодических изданий и изда-

¹⁴ Там же, с. 288.

¹⁵ 1-я редакция датируется 1931-1934 гг., в 1931 г. была напечатана 1-я часть повести (*Воля России*, 1931, 1-2) под заглавием: *Учитель музыки. Повесть* (см.: А.М. Ремизов, “Учитель музыки: Каторжная идиллия”, Тот же, *Собрание сочинений*, цит. Т. 9, с. 468). Но окончательная редакция книги была завершена только в начале 1949 г.

¹⁶ См.: А.М. Ремизов, “Учитель музыки: Каторжная идиллия”, Тот же, *Собрание сочинений*, цит., Т. 9, с. 4. См. также определение жанра книги в письме Н.В. Кодрянской: “Моя автобиография” (Н.В. Кодрянская, *Ремизов в своих письмах*, Париж 1977, с. 113).

¹⁷ Впервые опубликовано под тем же названием: *Последние новости*, 13 января 1935, с. 4.

¹⁸ А.М. Ремизов, “Учитель музыки: Каторжная идиллия”, цит., Т. 9, с. 348.

¹⁹ Уподобление Берлина древним Афинам (как центру культуры и цивилизации) — явный намек на его статус литературной столицы русской эмиграции. Аналогичным образом в автобиографической книге “Иверень. Загогулины моей памяти” Ремизов назвал “северными Афинами” провинциальную Вологду 1901-1903 гг., в которой он жил в качестве политического ссыльного, и где кипела активная культурная жизнь (см.: А.М. Ремизов, “Подстриженными глазами. Иверень”, цит., Т. 8, Москва 2002, с. 484).

²⁰ Там же, с. 314-315.

тельств²¹, которые ограничивали свободу писателя²². В главе “Юнер” книги *Учитель музыки* о нравах русского Парижа Ремизов скажет еще более резко и определенно: “‘Стомиллионный’²³ Париж! Русская провинция — густейшая с судами, пересудами, сыском, домыслами, ‘ножкой’, подсидкой и клеветой”²⁴.

Один из мифов русской эмиграции — миф о том, что именно она является хранительницей русской культуры и русской литературы, и поэто-

му А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Лермонтов, Ф. Достоевский, И. Тургенев, Л. Толстой и др. — это то, что составляет вечные ценности русской культуры, которые выше политических пристрастий и убеждений.

В эссе *Огненная Россия* (1921) Ремизов не случайно напишет: “Достоевский — это Россия. И нет России без Достоевского”²⁵. Слова “нет России без Достоевского” понимаются Ремизовым почти буквально: без Достоевского Россия погибнет. И, наоборот, в памяти о Достоевском заключается спасение России как явления культуры, как исторического феномена. Этот мотив (залог спасения России — ее великие писатели) нашел отражение в рассказе *На даровых хлебах* (вошел в книгу Ремизова *Взвихренная Русь; 1917-1921*):

[...] Еще при Керенском, когда одни стали “углублять” революцию, а другие каркать, что с революцией “Россия погибнет”, Гусев как-то сказал Насте, что если она такое услышит, пусть всем говорит, что не погибнет Россия, “потому что есть Пушкин, Лев Толстой, Достоевский”²⁶.

Сам Ремизов личность и творчество Достоевского неизменно оценивал очень высоко, отчасти даже мифологизировал образ писателя²⁷. Тем более любопытно, что в книге *Учитель музыки* мы находим несколько неожиданный фраг-

²⁵ А.М. Ремизов, “Взвихрённая Русь”, Тот же, *Собрание*, цит., том 5, с. 358, 363.

²⁶ Там же, с. 300. Высоко оценивая творчество Л.Н. Толстого, Ремизов, однако, отдавал предпочтение Ф.М. Достоевскому: “Когда говорят: Толстой или Достоевский, надо спросить себя: кто из них сказал больше о человеке. И ответ будет один: да, конечно, Достоевский” (Н.В. Кодрянская, *Алексей Ремизов*, Париж 1959, с. 137).

²⁷ См.: С. Доценко, “Апокрифические мотивы в повести А. М. Ремизова ‘О страстях Господних’”, *Славянские чтения. I*, Даугавпилс, Резекне 2000, с. 114-123; тот же, “А. Ремизов и Ф. Достоевский: Поэтика палимпсеста”, *Русская литература*, 2007, 4, с. 107-117; тот же, “‘Кто, откуда пришел он?’ (Ф. Достоевский в эссе А. Ремизова ‘Огненная Россия’)”, *От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX-XXI веков: Сб. статей в честь проф. Х. Вашкелевич / Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz*, Kraków 2014, с. 235-240. В январе 1918 г. Ремизов запишет в дневнике: “Костры заволжские — самосожжения — от Аввакума возродили Пушкина и Достоевского. Сила духа старой Руси сожигающей[ся] перешла в Пушкина и Достоевского” (А.М. Ремизов, “Дневник 1917-1920 г.”, *Минувшее: Исторический альманах*. 16, цит., с. 472).

²¹ См. также: “Но я еще только входил в литературный круг и не мог понять, в чем тут небывлица: я еще не знал никаких литературных мерзостей, вроде бойкота — или замалчивания, широко практикующегося в эмигрантской печати” (там же, с. 317).

²² Еще одну приметку провинциализма эмигрантской литературы Ремизов видит в следующем: “Как здесь [в Париже. — С.Д.], так и в России, сколько за эти послереволюционные годы повылезло всяких сереньких ‘зозуль’, раздутых политикой, партией и глупейшей провинцией знаменитостей — ‘замечательных’ и даже ‘великих писателей’ [...]” (там же, с. 67). Собирательный образ второстепенного писателя с раздутой репутацией, названный Ремизовым “зозуля”, восходит, возможно, к имени советского беллетриста 1920-х годов Е.Д. Зозули (см.: М.С. Лучанский, “Зозуля”, *Литературная энциклопедия: В 11 т.*, Москва 1930, Т. 4, с. 349).

²³ Мотив “стомиллионного Парижа” восходит к книге Л.-С. Мерсье *Картины Парижа* (1781), в которой автор, чтобы подчеркнуть многолюдность Парижа, сообщает, что “один только Париж приносит французскому королю около ста миллионов в год — считая тут все: ввозную пошлину, десятину, подушную подать и все прочие казенные обложения, названия которых могли бы составить целый словарь” (Л.-С. Мерсье, *Картины Парижа: В 2 т.*, Москва, Ленинград 1935, с. 58). В заметке Ремизова *Для кого писать* (1931) выражение “‘стомиллионное’ население русского Парижа” использовалось для обозначения массового читателя (см.: А.М. Ремизов, “Мерлог”, Публ. А. дАмелия, *Минувшее: Исторический альманах. Вып. 3*, Париж 1987, с. 232).

²⁴ А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 195. Определенная настороженность к Ремизову в русском литературном Париже, после его переезда из Берлина в 1923 г., подтверждается письмом Д. Святополк-Мирского П. Сувчинскому (от 8 января 1924): “Видел Ремизова. Вид у него лучше, чем был в Берлине, и он как будто веселый. Но его обижают здешние литераторы Бунин и Мережковский, считают за большевистского агента и никуда не пускают” (цит. по: Е. Обатнина, *Царь Асыка и его подданные: Обезьяня Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах*, Санкт-Петербург 2001, с. 293). См. также признание Ремизова (в инскрипте С.П. Ремизовой-Довгелло на форзаце книги *Страница*, 7 ноября 1924 г.): “Сегодня год, как мы переехали из Берлина в Париж. И за это время много пришлось поднять и нелегкого. Если в Берлине встретили нас после России равнодушно ‘живи, как знаешь, нам дела нет!’, то в Париже просто враждебно, тут не то, что ‘— — —, нам дела нет’, то под этот голос ‘нет’ гвоздиков и стеклышек всяких: ‘ну-ка! поживи-ка!’” (*Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки*, Санкт-Петербург 1992, с. 20).

мент, который по сути дела оказывается “демифологизацией” Достоевского как олицетворения и символа России. А точнее — является демифологизацией его знаменитой “пушкинской” речи, развенчанием идей Достоевского, изложенных 8 июня 1880 г. в его речи на пушкинских торжествах. В гл. *Шиш еловый* (1933) приводится такое рассуждение Василия Петровича Куковникова о “пушкинской речи” Достоевского:

Вы думаете, так взволнованно говорил Достоевский о Пушкине... ничего подобного: о себе и только о себе. А о Пушкине или ничего не говорящее: “Пушкин явление пророческое, потому что в его появлении заключается нечто бесспорно пророческое”; или провинциальнейшую ерунду о каком-то чудеснейшем “даре перевоплощения в душу чужого народа”, — о каком-то исключительном даре, какого даже и у Шекспира не было — да позвольте заметить, что и ни у кого не было, и кто ж это не знает, а лучше всех сам Достоевский: никакого перевоплощения нет и быть не может, а пущено для красного словца критиками для невзыскательного читателя. Но главное, и об этом все уши прожужжали: восторг Достоевского перед Пушкинской Татьяной: Татьяна — идеал русской женщины, и восхищение ее верностью. Очень вам благодарен. Точно все забыли “Дядюшкин сон”? С 1859 года, правда, много прошло. Или не читали? Татьяна — “настоящая русская женщина”, “тип положительной красоты”, “апофеоз русской женщины”, “благодарным инстинктом она чувствует правду и знает, где ее искать” (слово в слово откуда-нибудь из Писемского, из “Старческого греха” или “Людей сороковых годов”)... и, вспомнив свою Лизу из “Записок из подполья” “вот еще Лиза... в “Дворянском гнезде”, — поправился Достоевский. И Тургенев, принявший эту вырвавшуюся Лизу за свою из “Дворянского”, даже прослезился. А Достоевский перешел к Онегину и Татьяне: Достоевский вдруг перевоплотился в свою красноречивую Марию Александровну Москалеву [...]²⁸.

Марья Александровна Москалева — это персонаж повести Достоевского *Дядюшкин сон*, которая убеждает свою дочь расчетливо выйти замуж за богатого, но старого князя, а не за бедного учителя, которого Зина любит:

Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, — княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, — расчеты на смерть его! Но — я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что

не хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...

— Попросту выходит: выйти замуж за князя, обогатиться и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: “Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласишься на нее!” Это по крайней мере было бы откровеннее²⁹.

Как очевидно, Куковников обнаруживает подобие коллизий в романе Пушкина *Евгений Онегин* и в повести Достоевского *Дядюшкин сон*: героиня выходит замуж не по любви, а по расчету (или необходимости), поддавшись настоятельным уговорам матери. Читаем дальше рассуждение Куковникова:

Пронзительная мамаша бобы разводит, а слушатели уши развесили. Выйти замуж без любви, любя другого, “для матери” — да прочитайте вы “Дядюшкин сон”, там все, все доводы от “прекрасного и высокого”, ну, конечно, и “угрожающая нищета” не была забыта, “по миру пойдем, если...”, все раздирающие слова — “единственное спасение”, и что, отказавшись, “ты убьешь мать” — и Татьяна согласилась, а ведь это же самая настоящая проституция — ведь это Соня Мармеладова. И я уверен, что в петербургском генеральском доме где-нибудь на Английской набережной, на бархате, “удобно”, под какой-нибудь горностаевой мантильей Татьяна вздрагивала, как Соня под своим “семейным зеленым платком”, и, как у другой Сони — Писемского, наутро, после брачной ночи тряслась голова и рука. И потом встреча на “шумном бале”, Онегин у колонны... и этот знаменитый стих, потрясший наивных слушателей — “но я другому отдана и буду век ему верна”. Так все и ахнули: какая невообразимая верность! Еще раз очень вам благодарен. Или забыли “Записки из подполья”? С 1864 года прошло тоже не так мало. Или не читали? Там эта верность по-другому называется... есть, видите ли, известные обязательства перед хозяйкой дома, долг верности “публичному дому” и еще — и на это нет ни письменных, ни устных условий, это само собой, с ночи вырабатывается, это — “вынужденность воли”, “опустошение”, человек сживается со своей неволей³⁰.

Иными словами, Куковников не видит разницы между поступком Сони Мармеладовой, которая вынуждена заниматься проституцией, чтобы содержать свою семью, и поступком Татьяны

²⁸ А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 305–306. Рассказ *Шиш еловый* впервые был опубликован в журнале *Числа*, 1933, 9, с. 57–88.

²⁹ Ф.М. Достоевский, *Собрание сочинений в 15 томах*, Ленинград 1988, том 2, с. 27–28.

³⁰ А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 306.

Лариной, которая выходит замуж не по любви, а лишь ради благополучия матери. И то, и другое, с его точки зрения, есть “самая настоящая проституция”. Тем самым развенчивается один из мифов Достоевского — образ Татьяны как “идеал русской женщины”. Ремизов отрицает попутно и миф Достоевского о Пушкине (о его якобы “даре перевоплощения в душу чужого народа”).

Описание же нравов русской эмиграции в книге *Учитель музыки* Ремизова становится наглядным подтверждением того, что нет никакой “миссии русской эмиграции”, а есть лишь одна “каторжная идиллия” — “бессрочная каторга”³¹. Вывод, к которому приходит Ремизов, таков: “Да, только смерть раскроет перед нами дверь на свободу”³².

Предтечей Ремизова в деле демифологизации идей Достоевского, изложенных им в “пушкинской” речи, был, несомненно, В.В. Розанов. Еще в 1911 г. в статье *О происхождении некоторых типов Достоевского* Розанов писал:

Наконец, если мы вспомним “Пушкинскую речь”, канва которой, конечно, была заготовлена раньше, но *сказалась* она словами, создавшимися в момент самого произнесения, и *сказалась*, как мы все чувствуем и понимаем, в каком-то глубоком экстазе и волнении, — что такое эти слова об Алеко, ушедшем в цыганский табор от цивилизации, от города?! О, тут Достоевский наивно и невинно схитрил около Пушкина, навязав ему “пророческое предвидение наших теперешних дней”: Пушкин таким “пророчеством” не обладал, не был им болен [...] ³³.

Знаменательно и другое: разоблачение идей Достоевского приписывается Василию Куковникову, одному из парижских приятелей Александра Корнетова, главного героя *Учителя музыки*. Кто такой Куковников? О нем узнаем следующее:

Василий Петрович Куковников не писатель, он лишь в “рассеянии сущий”, с Берлина басни пишет — с Берлина и пошло ему название “баснописец” — *Fabeldichter aus Tiergarten* или просто “*Kalenderdichter*”. А впервые и единственный раз напечатали его в Париже, но с такими несуразными опечатками, а главное с пропуском строчек по соображениям типографским, ввиду экономии места, что и сам он, читая свое,

никак не может добраться до смысла, а запраторив черновик, не может восстановить оригинал. Куковников — книжник, любитель книжного почитания, неисповедимо очутившийся за границей: все книжники Куковниковского склада улитки или черепахи — малоподвижны, живут, где повелось и сживаются со своими книгами неотрывно — покинуть книги им все равно, что дать отсечь себе руку или выколоть глаз, нет, больше, они согласятся и на отсечение и на потерю глаза, лишь бы оставили с ними книги³⁴.

Но Василий Куковников — это один из немногих псевдонимов самого Ремизова, под которым последний опубликовал в 1933 г. две заметки³⁵, а также — два рассказа (*Заваль* и *Юнер*) из *Учителя музыки*³⁶. Иными словами, крамольные “антидостоевские” речи Ремизов вложил в уста своего литературного двойника Василия Куковникова. При этом, правда, в гл. *Чинг-Чанг* Ремизов оговаривается, раскрывая имена и функцию своих “двойников” в *Учителе музыки*:

Я — и Корнетов и Полетаев и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицин и Петушков и Пыткок-Пытковский и Курятников и, наконец, сам авантюристический африканский доктор. Все я и без меня никого нет. [...] Или, как выразился бы профессор математики Сушилов, тоже один из героев идиллии: “Корнетов и его знакомые мои эманации, расчленение моей личности на несколько отражений моего духа”³⁷.

Поэтому напрашивается вывод: в сентенциях Куковникова, полемически направленных против знаменитой “пшкой” речи Достоевского, содержатся, по сути дела, мысли самого Ремизова. Или, если быть более точным, — одной из его “эманаций”. Почему объектом полемики стала именно “пушкинская” речь Достоевского? Как представляется, именно потому, что в речи о Пушкине Достоевский и сам выступил в роли пророка³⁸, и самого Пушкина превратил в “пророческое” явление:

³⁴ Цит. по: А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 304.

³⁵ См.: В. Куковников [Ремизов А.М.], “Рукописи и рисунки А. Ремизова”, *Числа*, 1933, 9, с. 191-194; тот же, “Выставка рисунков писателей”, А. Ремизов, “Мерлог”, публ. А. Д’Амелия, Минувшее: Исторический альманах. 3, Париж 1987, с. 207-208. Ремизов опубликовал рассказ *Щуп и цапля* под псевдонимом “баснописец В. Куковников” (см.: [Ремизов А. М.], “Щуп и цапля: Дела литературно-семейные. Под ред. баснописца Василия Куковникова”, *Новая газета*, 1931, 1, С. 3).

³⁶ См.: А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 466.

³⁷ А.М. Ремизов, *Учитель музыки*, цит., с. 437.

³⁸ О Ф. Достоевском как о пророке (правда, в основном как о пророке русской революции) писал и Н.А. Бердяев: “У Достоевского был пророческий дар. Этот дар

³¹ Там же, с. 348.

³² Там же, с. 350.

³³ В.В. Розанов, “О происхождении некоторых типов Достоевского: (Литература в переплетениях с жизнью)”, тот же, *Собрание сочинений*, Москва 1996, Т. 7, с. 578-579.

“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пуш-

кин есть пророчество и указание³⁹.

Но именно такое понимание Пушкина Достоевским отказывается принимать А. Ремизов, скрывшись за образом своего alter ego В. Куковникова.

оправдан историей. Мы это остро чувствовали, когда поминали сорокалетие со дня смерти Достоевского” (цит. по: Н.А. Бердяев, *Мирозерцание Достоевского*, Ргаһа 1923: <<http://www.vehi.net/berdyayev/dostoevsky/07.html>>). 11 февраля 1921 г. Ремизов выступил с речью в петроградском Доме Литераторов на собрании, посвященном 40-й годовщине со дня смерти Ф. Достоевского. Впечатления об этом выступлении есть в воспоминаниях К.А. Фебина: “В сороковую годовщину смерти Достоевского Ремизов произнес *Слово* [*“Огненная Россия. Памяти Достоевского”* — С.Д.] о нем в Доме литераторов. Я смотрел в лицо Ремизову, когда он, прискакивая, как будто силясь выпрыгнуть из-за кафедры, на которую опирались его раскинутые руки, взывал к аудитории смятанным голосом. Было что-то жгучее и неистовое в ремизовском прославлении России Достоевского, в покаянии и гневе, какие клочотали в этом *Слове*. Лицо Ремизова вдруг передергивалось, на миг искажаясь от боли и страсти, хотя видно было, что он себя изо всех сил удерживает в ораторской черте, почти боясь вырваться из нее в иступление, в пророческий, в шаманский крик” (К.А. Фебин, *Горький среди нас: Картины литературной жизни*, Москва 1968, с. 117-118).

³⁹ Ф.М. Достоевский, *Собрание Сочинений*, цит., т. 14, с. 425.